

МАКСИМ ПЕТРОВСКИЙ



ТЕНЬ
НЕПРОШЕНОГО
ГОСТЯ

Максим Петровский

Тень непрошеного гостя

<https://litres.ru/74594917>

SelfPub; 2026

Аннотация

Черноярск построен на костях и круговой поруке. Здесь научились хоронить преступления так ловко, что само зло стало казаться благочинием. Но однажды в город входит человек без имени, в чьих глазах застыла тяжелая память обо всех, кто был предан, растоптан и забыт. Вслед за ним рушатся судьбы, срываются маски и ломаются железные засовы. Беспощадная психологическая хроника распада города-склепа, где самым страшным наказанием для человека оказывается не каторга и не суд, а собственная проснувшаяся совесть.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Взгляд в трактире	17
Глава 2. Ночной кошмар и утренний яд	35
Глава 3. Мясной затылок и древняя сталь	51
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Максим Петровский

Тень непрошеного гостя

Пролог



Телега въезжала в Чернойарск после полудня, когда солнце уже успело выжечь из земли последнюю влагу, но ещё не собиралось снижать своей жестокости. Дорога, взобравшаяся к городу по глинистому яру, была белой от пыли; она не столько лежала на земле, сколько висела над нею, тонкая, едкая, забивающая глаза, ноздри и рот. Колёса проходили по сухим колеям и скрипели на каждом повороте, будто старая телега жаловалась кому-то невидимому на своё существование.

Лошадь шла медленно, опустив голову. Её бока были мокры от пота, и на мокрой шерсти уже успела осесть серо-белая пыль. Возница время от времени покрикивал на неё, но без злобы и без надежды: он давно знал, что в такую жару всякая торопливость только приближает беду.

Справа открывался обрыв. Глина спускалась к реке отвесными, местами осыпавшимися пластами. Внизу лежала Волга — широкая, мутная, почти неподвижная под этим ослепительным небом. От воды не веяло прохладой. Напротив, снизу поднимался тяжёлый запах тины, рыбьей чешуи, сырого дерева и чего-то гнилого, что не имело уже отдельного названия. Над рекой лениво кружили птицы. Они были далеко, почти незаметны, и оттого казались чёрными точками, приколотыми к белому небу. Город начинался немного дальше, за заставой, и с дороги было видно его низкие крыши, церковные главы, редкие сады, серые заборы и длинную линию домов, тесно прижавшихся друг к другу на краю яра. Издали Черноярск не производил неприятного впечатления. Даже напротив: в нём было что-то спокойное и основательное. Церкви стояли там, где им полагалось стоять. Купеческие дома были крепки. Казённые здания имели свежескрашенные фасады. На площади виднелись вывески лавок. Всё говорило о порядке.

Но чем ближе подходила телега, тем отчётливее становилось другое. Пыль. Она лежала на всём. На заборах, на листьях, на крышах, на оконных стёклах, на крестах кладби-

ща. Она покрывала даже те вещи, которые, казалось, должны были принадлежать не земле, а небу. Белая пыль забивала щели между камнями мостовой и смешивалась с конским навозом, с золой, с высохшей грязью. Люди ходили по ней и уже не замечали её. Их одежда имела один цвет — тот же серовато-жёлтый, какой приобретает человеческое лицо после долгой болезни.

Черноярск жил.

Это было несомненно.

Из открытых окон доносились голоса. Где-то ругались. Где-то смеялись. У лавки спорили о цене муки. На другом конце улицы плакал ребёнок. Мимо заставы прошла женщина с ведром, тяжело переставляя ноги. Двое мастеровых несли длинную доску и громко переговаривались. На крыльце питейного заведения сидел старик и плевал в пыль.

Всё было обыкновенно.

И именно это обыкновенное почему-то давило сильнее жары.

У заставы телега остановилась.

Караульный, сидевший в тени деревянной будки, лениво поднялся. Он был человек лет сорока, с красными от жары глазами и короткими усами. Фуражка лежала на затылке. Он сначала посмотрел на возницу, потом на лошадь, потом в телегу.

— Откуда?

— С дороги, — ответил возница.

Караульный недовольно посмотрел на него.

— Это я вижу.

Возница пожал плечами.

— Из-за реки.

— Куда?

— В город.

Караульный хотел было рассмеяться, но не стал. В такую жару шутки казались лишней работой. Он снова заглянул в телегу.

Там сидел человек.

С виду — совершенно обыкновенный проезжий.

Ему было немного за пятьдесят. Рост чуть выше среднего. Он слегка сутулился, вероятно, от долгой дороги; виски были седыми, лицо загорелым и утомлённым. На нём был тёмный дорожный сюртук, потёртый на локтях и по краям, простой жилет и крепкие сапоги, покрытые дорожной пылью. Рядом стоял добротный кожаный саквояж. Кожа потемнела от времени, но была хорошая, плотная, ещё способная служить много лет.

Ничего особенного.

Караульный уже хотел отойти, когда человек поднял голову.

Их глаза встретились.

Караульный замер.

Это длилось не больше секунды.

Но секунды оказалось достаточно.

Взгляд был странный. Не тяжёлый, не властный, не угрожающий. В нём не было того холодного любопытства, каким иногда смотрят сыщики, или наглого внимания человека, привыкшего оценивать чужое имущество. Скорее, глаза этого проезжего казались очень усталыми. В них была такая глубокая, необычная печаль, что караульный вдруг почувствовал себя неловко, словно случайно заглянул в комнату, где происходило что-то слишком личное.

Он первым отвёл глаза.

— Проезжайте.

Человек кивнул.

— Благодарю.

Голос был совершенно обычный.

И всё же караульный, когда телега уже тронулась, поймал себя на том, что стоит неподвижно и смотрит ей вслед. В груди у него оставалось неприятное ощущение, похожее на тот холод, который иногда возникает перед грозой. Но грозы не было. Небо было совершенно чистым.

— Чего уставился? — спросил возница.

Караульный не ответил.

Через несколько минут он забыл лицо проезжего.

Но не забыл глаза.

Возница тоже сначала ничего не заметил. Он погонял лошадь, ругнулся на разбитую колею, сплюнул, вытер шею и только потом, когда телега уже вошла между первыми домами, вдруг оглянулся.

— Вам куда?

Человек ответил не сразу.

— В трактир.

— Какой?

— Любой.

Возница подумал.

— Зарубина?

— Хорошо.

И снова замолчал.

Телега поползла по главной улице.

Город постепенно смыкался вокруг них. Здесь было теснее. Дома стояли почти вплотную к дороге, заборы наклонялись наружу, словно хотели заглянуть в проезжающую телегу. Из окон пахло жареным луком, потом, кислыми щами. На солнце сушилось бельё. Над улицей висели провода, и на них сидели птицы, нахохлившись от жары. Где-то стучал молоток. Где-то играла гармошка. В одном окне женщина расчёсывала волосы и смотрела вниз.

Человек в телеге смотрел по сторонам.

Он не разглядывал город с любопытством путешественника. Не искал достопримечательностей. Не улыбался прохожим. Просто смотрел.

Иногда его взгляд задерживался на каком-нибудь доме.

На вывеске.

На человеке.

На окне.

И каждый раз в лице его появлялось то же выражение — не удивление, а будто короткая, тяжёлая мысль.

Он приехал в Черноярск впервые.

По крайней мере, никто в городе не помнил его.

Но он смотрел на улицы так, будто кое-что здесь уже видел.

На площади телега остановилась.

Человек спустился на землю. Его сапоги мягко вошли в пыль. Он достал из кармана деньги и расплатился с возницей.

— Долго будете? — спросил тот.

— Не знаю.

— Вечером обратно?

— Нет.

Возница кивнул.

Человек взял саквояж.

Несколько секунд он стоял посреди улицы, словно решая, куда идти.

Потом направился к трактиру.

Возница смотрел ему вслед.

Сам не зная почему, он вдруг почувствовал тревогу.

Такую же, какую иногда испытывает человек, когда ночью просыпается оттого, что в соседней комнате кто-то ходит, хотя он точно знает, что дома один.

Возница встряхнул головой.

— Дурак, — сказал он самому себе.

Поднял вожжи.

Телега поехала дальше.

А человек с саквояжем шёл по Черноярску.

Он был настолько непримечателен, что прохожие почти не замечали его.

И всё же один человек заметил.

У ворот приюта стояла девушка.

Ей было девятнадцать лет.

Она была сиротой и жила в приюте уже много лет, хотя сама давно перестала считать себя ребёнком. На ней было простое платье, выстиранное до такой степени, что первоначального цвета его уже никто не помнил. В руках она держала пустую корзину. Её лицо было худым, но не слабым; в нём ещё оставалось что-то живое, упрямое, молодое. Она смотрела на дорогу за городом.

Не на прохожих.

Не на дома.

Именно на дорогу.

Туда, где Черноярск кончался.

Она часто смотрела туда.

Иногда ей казалось, что за ярмом начинается настоящая жизнь. Она ничего о ней не знала и потому могла воображать что угодно: другие города, широкие улицы, вокзалы, большие дома, незнакомых людей, которые не знают её прошлого и не спрашивают, откуда она. Ей хотелось одного — выйти за пределы этого места, которое казалось ей огромным только

потому, что в нём было слишком мало воздуха.

Человек с саквояжем прошёл мимо.

Ольга посмотрела на него.

Он тоже посмотрел.

И остановился.

Не потому, что узнал её.

Не потому, что хотел заговорить.

Просто на мгновение их взгляды встретились.

Ольга увидела в его глазах странную печаль.

Не жалость к ней.

Не любопытство.

Печаль вообще не была направлена на неё.

Казалось, этот человек смотрел не на девушку, а куда-то сквозь неё — туда, где за её лицом, за стенами приюта, за улицами и домами лежала вся её ещё не прожитая жизнь, и уже знал, что и там когда-нибудь появится то, от чего человек старается бежать всю жизнь.

Ольга нахмурилась.

Человек пошёл дальше.

Она проводила его глазами.

Потом снова посмотрела на дорогу.

Он исчез за углом.

Ольга не знала его имени.

И никто в Черноярске в тот день ещё не знал, зачем он приехал.

Это было даже хорошо.

Города не любят чужих людей, пока не успеют придумать им имя. Имя делает человека удобным. Его можно записать в книгу, назвать в разговоре, связать с профессией, домом, семьёй, долгом. Пока имени нет, человек остаётся слишком свободным.

К вечеру имя у него появилось.

Не настоящее.

Одно из тех имён, которые возникают случайно и потом начинают жить собственной жизнью.

Но пока он был просто проезжим.

Он вошёл в трактир Зарубина, поставил саквояж возле двери и попросил чаю.

Хозяин посмотрел на него.

— Ночевать будете?

— Возможно.

— Комната нужна?

— Потом решу.

— Обед?

— Нет.

— Водки?

Человек немного подумал.

— Водки.

Зарубин налил ему стакан.

Проезжий выпил не торопясь.

Поставил стакан.

И спросил:

— Давно здесь стоит ваш дом?

Зарубин посмотрел на него внимательнее.

— Какой дом?

Человек оглядел помещение.

— Этот.

— Давно.

— До вас кто жил?

Зарубин пожал плечами.

— Разные люди.

Проезжий ничего не сказал.

Он взял саквояж и прошёл к дальнему столу.

Зарубин смотрел ему вслед.

Потом вдруг спросил:

— Вы к кому приехали?

Человек остановился.

На несколько секунд задумался.

— Я приехал по делу.

— По какому?

Он повернулся.

В его лице не было ничего подозрительного.

Только усталость.

Только глаза.

— По старому.

Зарубин не понял.

Но переспрашивать не стал.

Человек сел.

За окном солнце уже начинало опускаться, однако жара не спадала. Над рекой стоял белёсый пар. Город гудел. Где-то звонили к вечерне. На площади ругались из-за лошади. В переулке плакал ребёнок. В трактире звякала посуда.

Всё продолжалось.

Черноярск жил своей привычной жизнью.

Он ещё не знал, что иногда достаточно одного человека, чтобы в давно закрытом доме открылась дверь.

Не потому, что этот человек силен.

Не потому, что у него есть власть.

Не потому, что он способен заставить других бояться.

А потому, что он ничего не забыл.

И потому, что некоторые вещи, которые люди называют забытыми, на самом деле просто долго лежат в темноте.

Проезжий сидел у окна и смотрел на город.

Перед ним стоял остывающий чай.

Рядом лежал старый кожаный саквояж.

Он положил ладонь на его крышку.

И сидел так долго, неподвижно, пока за окном постепенно не погас белый свет.

Никто не подошёл к нему.

Никто не спросил имени.

Никто не знал, что завтра утром этот человек начнёт задавать вопросы.

Очень простые вопросы.

Обыкновенным голосом.

И что иногда простой вопрос оказывается страшнее обвинения.



Глава 1. Взгляд в трактире



На другой день Чернойрск снова раскалился. Дождя не было и, судя по небу, не предвиделось: над городом с самого утра висело бесцветное, белое солнце, такое яркое, что крыши и стены домов казались вырезанными из дешёвого металла. Жара начиналась ещё до полудня и к двенадцати становилась почти физической вещью: её можно было чувствовать на лице, на руках, под одеждой; она входила в дома вместе с воздухом, садилась на мебель, на книги, на плечи человека и не уходила, пока тот не начинал потеть всем телом. В прогимназии окна были распахнуты, но от этого становилось только хуже. Вместо свежего воздуха в классы входил

горячий запах улицы — пыли, конского навоза, разогретого дерева и далёкой речной гнили. Ученики сидели вяло, размлевшие, с расстёгнутыми воротничками; чернила густели в чернильницах; мухи бесстыдно ползали по рамам и иногда садились на раскрытые тетради. Алексей Петрович Воронин говорил о войнах, договорах и государственных переворотах, а сам чувствовал, как рубаха постепенно прилипает к спине. Он говорил привычным голосом, ровным, почти без выражения. Тридцать лет преподавания сделали своё дело: ему уже не требовалось думать о том, как произносить слова. Они выходили сами, готовыми последовательностями, отшлифованными повторением. Иногда ему казалось, что он давно уже не говорит, а только предоставляет своему голосу возможность продолжать существование независимо от него самого. Он стоял у доски в тяжёлом чёрном сюртуке, старом, но тщательно вычищенном, с тем безукоризненным видом, который давно стал его второй кожей. Всё в нём было благообразно. Седоватые виски. Чисто выбритое лицо. Аккуратно застёгнутый воротник. Спокойный взгляд. Даже усталость его имела приличный вид. Но внутри он чувствовал себя так, словно всё утро тащил на себе тяжёлый сундук. Ныло левое колено. Болела поясница. Под конец урока он несколько раз незаметно переносил вес с одной ноги на другую, чтобы уменьшить боль. Когда прозвенел звонок, он ещё некоторое время стоял неподвижно, слушая, как ученики шумно выходят из класса. Затем сел. Снял очки. Протёр

их. Посмотрел в окно. На дворе было бело от солнца. И вдруг ему стало трудно дышать. Не от жары даже — от какого-то беспричинного, тупого ощущения, будто стены класса приблизились и теперь стоят совсем рядом с ним. Он расстегнул верхнюю пуговицу. Потом вторую. Посидел ещё немного и наконец встал. Домой идти не хотелось. Там его ждала комната, обед, тишина, несколько тетрадей, старый шкаф и тот размеренный порядок, который ещё вчера казался естественным, а сегодня почему-то раздражал. Ему хотелось куда-нибудь сесть. Выпить чаю. Посидеть среди людей. Услышать чужие голоса и убедиться, что мир по-прежнему состоит из обычных вещей.

На улице жара ударила в него сразу. Он вышел из подъезда и остановился, шурясь. Солнце било прямо в глаза. Пыль уже поднялась над улицей, хотя день только начинался. Воронин медленно пошёл. Каждый шаг отзывался в колене. Сюртук стал тяжёлым и влажным. На спине под ним рубашка прилипла к коже. Воротник натирал шею. Через несколько минут пыль начала скрипеть на зубах. Он сплюнул, вытер рот платком и раздражённо посмотрел на небо. Небо было пустое. Совершенно чистое. Только над рекой висело мутное белёсое марево. Вчерашний приезжий почему-то вспомнился ему в этот момент. Воронин не знал, почему. Он вообще едва запомнил его. Мужчина лет пятидесяти, дорожный сюртук, саквояж. Обыкновенный проезжий. Таких людей в уездных городах появлялось десятками: землемеры, торгов-

цы, чиновники, люди, едущие к родственникам или по делам. Но почему-то лицо его не исчезло из памяти. Вернее, лицо исчезало. Воронин мог представить его одежду, фигуру, сутуловатую спину. Но стоило попытаться вспомнить глаза, как возникало неприятное ощущение, будто память натывалась на что-то острое. Он не любил эту мысль и потому оттолкнул её. В трактир Зарубина он вошёл почти с облегчением.

Внутри было темнее. Первые секунды Воронин почти ничего не видел. Потом глаза привыкли. Воздух здесь был тяжёлый, затхлый, насыщенный запахами вчерашней еды и сегодняшней водки. Из кухни тянуло кислой капустой, прогорклым салом, луком и чем-то горьким, пережаренным. У стойки Зарубин лениво протирает мутный стакан. Он делает это уже много лет и, вероятно, собирался делать ещё столько же. Толстые пальцы двигались без всякого интереса. Стакан становился не чище. В дальнем углу трое мужчин играли в домино. Костяшки монотонно стучали о стол. Раз. Пауза. Раз. Раз. Этот звук странным образом совпадал с тяжёлым гудением мух под потолком. За окном улица была залита солнцем, а здесь царил зелёно-бурый полумрак, словно трактир существовал отдельно от времени и погоды. Воронин снял шляпу. Зарубин поднял голову. — Алексей Петрович? — Чаю. С лимоном. — Сейчас. Воронин прошёл к дальнему столу. Сел. Поставил портфель возле ноги. Провёл ладонью по лицу. Рука была мокрой. Он почувствовал

собственный запах — пот, сукно, дорожная пыль. Ему стало неприятно. Он расстегнул сюртук и немного откинулся назад. Через минуту перед ним поставили стакан. Чай был слишком горячим. Воронин подождал. Потом взял ложку. Рука слегка дрогнула. Он посмотрел на неё с раздражением. «Старею», — подумал он. И тут же, почти автоматически, добавил: «Ничего. Ещё поживу». Эта мысль показалась ему почему-то особенно неприятной.

Он поднял глаза.

У окна сидел вчерашний проезжий.

Воронин сразу узнал его. Тёмный дорожный сюртук. Потёртые рукава. Жилет. Запылённые сапоги. Рядом на полу — тот самый кожаный саквояж. Мужчина сидел немного сутулившись, положив одну руку на стол. Перед ним стоял стакан чая. Он читал какую-то небольшую газету, но, почувствовав взгляд, поднял голову.

И посмотрел на Воронина.

Всё произошло так быстро, что Воронин сначала не успел понять, что произошло. Он только почувствовал, как внезапно сжалось горло. Будто внутрь гортани засунули холодный железный обруч и резко затянули. Воздух перестал проходить. Воронин судорожно вдохнул. Грудь поднялась, но вдох оказался пустым. По спине, несмотря на жару, пробежал ледяной пот. На висках выступили холодные капли. Сердце сначала ударило сильно, потом сбилось и несколько секунд билось где-то в горле. Во рту появился вкус ржавчины. Он

сглотнул. Никакого металлического предмета рядом не было. Но вкус не исчезал. Казалось, будто у него во рту растворилось что-то железное, старое, лежавшее много лет во влажной земле. Самое страшное было не в глазах незнакомца. Они не были злыми. Не были даже особенно строгими. В них не было любопытства. Он не разглядывал Воронина, не оценивал его одежду, возраст или лицо. Он просто смотрел. И в этом взгляде было нечто, от чего Воронин вдруг почувствовал себя совершенно незащищённым. Не перед обвинением. Перед знанием. Это было знание, лишённое всякого интереса. Так человек смотрит на дом, в котором уже побывал, на книгу, которую уже прочёл, на место, где ничего нового для него больше нет. Воронин не знал этого человека. Но человек, казалось, знал его. Не имя. Не должность. Не то, где он живёт. Глубже. Страшнее. Он словно видел его не сегодняшнего, в чёрном сюртуке, с портфелем и стареющим лицом, а всего целиком — вместе с теми годами, о которых никто не спрашивал и которые сам Воронин старался не вспоминать.

Незнакомец сложил газету.

Встал.

Взял стакан.

Подошёл к столу Воронина.

— Разрешите?

Он не ждал ответа и сел.

Воронин смотрел на него.

— Мы знакомы?

— Возможно.

— Вы вчера приехали?

— Да.

— По делам?

— По делам.

Наступила пауза.

За соседним столом домино ударило о дерево.

Раз.

Раз.

Незнакомец сделал глоток чая.

— Вы Алексей Петрович Воронин.

Это не был вопрос.

— Да.

— Учитель истории.

— Да.

— Сорок девять лет.

Воронин почувствовал, как внутри снова возникает холод.

— Вы справлялись обо мне?

— Нет.

— Тогда откуда...

Он замолчал.

Незнакомец посмотрел на него.

— Моё имя вам ничего не скажет.

Он назвал себя.

Воронин услышал имя, но почти тотчас оно распалось в памяти. Несколько звуков, ничего больше. Он попытался повторить их про себя. Не получилось. Сознание словно судорожно отбрасывало услышанное и подсовывало другое, без- опасное, человеческое, знакомое.

— Николай Леонидович... Горенский?

Незнакомец чуть опустил глаза.

На его лице появилась усталая улыбка.

— Если вам так легче — пусть будет Горенский.

— Я вас не знаю.

— Я знаю.

— Тогда почему вы подошли ко мне?

— Потому что хотел поговорить.

— О чём?

— О вас.

Воронин почувствовал, как напряглись мышцы живота.

— Мы едва знакомы.

— Именно.

Он говорил спокойно. Без насмешки. Без угрозы.

Это делало всё происходящее ещё хуже.

Незнакомец наклонился к саквояжу.

Два замка щёлкнули.

Звук оказался неожиданно громким.

Воронин вздрогнул.

Из саквояжа незнакомец достал тяжёлый кожаный альбом. Положил на стол. Некоторое время держал руку на об-

ложке.

— Вам знакомо это?

Воронин не ответил.

Альбом открылся.

На странице лежала фотография.

Сначала он увидел только старую бумагу. Потемневшие края. Серую поверхность. Потом лицо.

Молодая женщина.

Чёрное платье.

Высокий кружевной воротник.

Тёмная камея на груди.

И глаза.

Воронин перестал слышать трактир.

Все звуки исчезли.

Женщина смотрела прямо перед собой. В её лице было что-то болезненное, напряжённое. Она была молода, но уже казалась измученной. Глаза были горячечными, слишком большими для худого лица. В них была та тревога, которую нельзя сыграть перед фотографом: тревога человека, который ждёт решения и уже знает, что решение будет плохим.

Воронин узнал её.

Натана.

Имя возникло само.

Он не произнёс его.

Но человек напротив произнёс:

— Натана.

Воронин закрыл глаза.

— Не надо.

— Её имя означало «дар Божий».

Он молчал.

— Красивое имя. Астрахань. Тридцать лет назад.

Воронин открыл глаза.

— Откуда у вас это?

— Ваша жизнь оставляет следы, Алексей Петрович. Иногда человек думает, что уничтожил прошлое только потому, что перестал о нём говорить.

— Я ничего не...

Он замолчал.

Незнакомец не торопил.

— Вам было девятнадцать, — сказал он наконец. — Вы были гимназистом. Она была влюблена в вас. Не так, как люди бывают влюблены в провинциальных мальчиков на один сезон. Она верила вам. Вы это знали.

Воронин смотрел на фотографию.

— Вы собирались жениться.

— Нет.

— Собирались.

— Мы были детьми.

— Она не была ребёнком.

Воронин почувствовал, как в горле снова пересохло.

— У вас начались разговоры с родными. Потом появились

страхи. Вы испугались скандала. Испугались бедности. Испугались обязательств. А больше всего — того, что придётся отвечать за собственные слова.

— Я был молод.

— Да.

— Вы не можете судить меня за то, каким я был девятнадцатилетним.

— Я вас не сужу.

Воронин поднял на него глаза.

— Тогда зачем вы здесь?

Незнакомец посмотрел на фотографию.

— Чтобы напомнить.

Он перевернул страницу.

— Вы уехали.

Воронин ничего не ответил.

— Не попрощавшись.

— Я написал.

— Да.

Воронин почувствовал, как сердце сжалось.

— Я написал ей.

— Очень осторожно.

Он говорил всё тем же голосом.

— Вы не сказали, что бросаете её. Вы написали о необходимости перемен, о семейных обстоятельствах, о будущем, которое всё расставит по местам. Вы написали много слов и не написали главного: «Я боюсь и потому ухожу».

— Я не мог...

— Могли.

— Вы ничего не понимаете.

— Понимаю.

Воронин посмотрел на фотографию.

На чёрное платье.

На белое кружево.

На камею.

Он вспомнил комнату.

Тогда тоже было жарко.

Он вспомнил лестницу.

Дверь.

Свой чемодан.

И то, как не обернулся.

— Она получила письмо вечером.

Воронин поднял голову.

Незнакомец продолжал:

— В тот же вечер она повесилась.

Стакан чая задребезжал в руке Воронина.

Он поставил его.

Пальцы не слушались.

— Нет.

— Да.

— Откуда вы знаете?

— Знаю.

— Она могла...

— Нет.

— Вы лжёте.

— Зачем?

Этот вопрос оказался страшнее всего.

Воронин молчал.

Домино продолжало стучать.

Раз.

Раз.

Раз.

Зарубин за стойкой протирает стакан.

Муха села на край сахарницы.

Мальчик-подавальщик прошёл мимо.

Обычная жизнь продолжалась вокруг них с почти оскорбительной невозмутимостью.

— Вы не пошли на похороны, — сказал незнакомец.

Воронин закрыл глаза.

— Я не мог.

— Могли.

— У меня были дела.

— Да.

Пауза.

— Вы боялись.

Воронин стиснул зубы.

— Я был молод.

— Вы боялись запачкать сюртук, Алексей Петрович.

Он произнёс это без злости.

И именно поэтому Воронин не выдержал.

— Замолчите.

Голос его прозвучал хрипло.

Несколько человек обернулись.

Незнакомец не изменился в лице.

— Тридцать лет вы молчали сами.

— Замолчите!

— Тридцать лет вы жили так, будто ничего не произошло.

— Я не хотел её смерти!

— Я знаю.

Воронин замер.

Незнакомец впервые посмотрел ему прямо в глаза.

— В этом и заключается самое тяжёлое, Алексей Петрович. Вы не хотели её смерти. Вы хотели только собственной безопасности.

Воронин открыл рот.

Слова не пришли.

Он вдруг почувствовал, что тело становится чужим. Руки дрожали. Подбородок мелко ходил. Колени слабели. Внутри живота поднималась тошнота. Он попытался встать, но стул качнулся.

— Сколько вы хотите?

Незнакомец нахмурился.

— Что?

— Денег.

— Мне не нужны деньги.

— Сколько?

— Я ничего не хочу.

Воронин смотрел на него.

Эти слова разрушили последнюю возможность объяснить происходящее.

Если бы требовали денег, можно было бы понять.

Если бы угрожали — можно было бы защищаться.

Если бы ненавидели — можно было бы ненавидеть в ответ.

Но этот человек ничего не хотел.

Он просто пришёл.

И открыл старую рану.

Воронин сунул руку в карман. Пальцы нащупали рубль. Ассигнация была влажной от пота. Он достал её, смял.

— Возьмите.

— Не надо.

— Возьмите!

Он бросил рубль на стол.

Бумага расправилась не сразу.

Незнакомец даже не посмотрел на неё.

Воронин оттолкнул стул. Тот с грохотом упал. Кто-то в углу выругался. Зарубин поднял голову.

Алексей Петрович схватил портфель и бросился к двери.

Он почти выбежал на улицу.

И в тот же момент небо лопнуло.

Сначала ударил ветер.

Он прошёл по улице одной огромной волной, поднял пыль, захлопнул ставни, перевернул чей-то пустой ящик. Затем стало темно.

Очень быстро.

Белое солнце исчезло.

Из-за реки пришла чёрная туча.

И хлынул дождь.

Не летний дождь, не освежающий ливень, о котором потом вспоминают с благодарностью, а тяжёлая южная вода, грязная и тёплая, обрушившаяся сразу всей массой. За несколько секунд улица исчезла. Вода била по крышам, по мостовой, по лицу, текла с карнизов, превращала пыль в жидкую глину.

Воронин побежал.

Зонт был в портфеле.

Он забыл о нём.

Он вообще забыл всё.

Бежал, скользил, падал, снова поднимался. Сюртук намок и потяжелел. Сапоги увязали в грязи почти по щиколотку. Вода заливала глаза. Он ничего не видел.

Натана.

Перед ним всё время было её лицо.

Не фотография.

Живое лицо.

Она смотрела.

И ждала.

Он поскользнулся и упал на колени.

Руки провалились в жидкую глину.

Он попытался подняться, но его вырвало.

Горькая желчь обожгла горло.

Он упёрся ладонями в землю.

Дождь лил ему на голову.

Воронин поднял лицо к небу и вдруг засмеялся.

Смех был короткий, сухой, совершенно не похожий на человеческий смех.

Он сам слышал его.

И перестал.

Перед ним текла улица.

Грязная вода несла листья, щепки, солому, навоз.

Город растворялся в потоке.

Церкви, дома, заборы, вывески — всё стало одинаково серым.

Черноярск будто смывали.

Но Воронин знал: вода может смыть пыль.

Не прошлое.

Он сидел под стеной, мокрый до нитки, с грязью на руках и желчью на губах, и впервые за тридцать лет почувствовал, что город вокруг него перестал быть убежищем.

Он был только местом.

Местом, где человек может спрятаться.

На время.

Но не навсегда.



Глава 2. Ночной кошмар и утренний яд



К вечеру дождь прекратился так же внезапно, как начался, и Черноярск остался лежать под тяжёлым, влажным небом, словно человек, которого избили и бросили умирать, но который по какой-то причине всё ещё продолжает дышать. Вода стекала с крыш, капала с подоконников, собиралась в глубоких лужах и медленно уходила в глину; улицы превратились в вязкую коричневую жижу, в которой отражались окна, заборы и редкие фонари. От реки тянуло сыростью, от дворов — мокрым навозом, от самой земли — густым запахом глины, которая после долгой сухости вдруг получила воду и

теперь словно разлагалась от избытка жизни. Ночь наступила душная. Ветер исчез. Деревья стояли неподвижно, тяжёлые от воды, и только иногда с листа срывалась крупная капля и падала на землю с каким-то особенно глухим звуком. Воронин шёл домой медленно, хотя ему хотелось бежать. Он не знал, от чего именно хотел убежать — от трактира, от фотографии, от голоса человека, назвавшего себя чужим именем, от собственной памяти или от того страшного спокойствия, с которым ему сказали: «Она умерла». Он шёл, потому что ноги ещё умели ходить, и потому что всякий человек, пока окончательно не разрушен, продолжает выполнять самые простые движения, словно тело не желает участвовать в катастрофе души. Один раз он остановился возле стены и долго смотрел на свои руки. На пальцах оставалась засохшая грязь. Ногти были чёрными. Правая рука дрожала. Он сжал её в кулак, подождал, пока дрожь ослабеет, и пошёл дальше. Дома он долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Когда наконец дверь открылась, ему показалось, что за нею находится не его комната, а чужая, давно необитаемая могила, в которой почему-то ещё сохранились его вещи.

Комната была маленькая, низкая, с одним окном во двор. Здесь всё имело своё место, и в этой правильности прежде заключалось для Воронина почти физическое утешение. Кровать у стены. Стол. Два стула. Шкаф. Умывальник. Небольшое зеркало в деревянной раме. Несколько книг. На подоконнике — засохший цветок в глиняном горшке, ко-

торый он всё собирался выбросить, но не выбрасывал уже третий год. Теперь всё это казалось ему подозрительным. Слишком неподвижным. Слишком невинным. Он закрыл дверь и некоторое время стоял к ней спиной. Потом снял сюртук. Ткань была тяжёлая, мокрая, испачканная глиной. Она с глухим шлепком упала на пол и осталась лежать там, тёмная, бесформенная, похожая на содранную кожу. Воронин посмотрел на неё и почувствовал внезапное отвращение. Ему захотелось поднять её, повесить, почистить, привести в порядок, как он делал всегда, но он не поднял. Он снял жилет, рубаху, остался в одной исподней рубахе и сел у окна. За стеклом лежал мокрый двор. Лунный свет был слабым, но его хватало, чтобы оконный переплёт лёг на дощатый пол длинным чёрным крестом. Воронин смотрел на него. Потом отвернулся. Через минуту снова посмотрел. Крест оставался на месте. Он попытался улыбнуться. Улыбка не получилась.

Он просидел так долго. Часы на стене отсчитывали минуты. Каждая казалась отдельной, тяжёлой и ненужной. В висках появился тонкий звон, сначала почти незаметный, потом всё более отчётливый. Казалось, где-то далеко натянута металлическая струна и кто-то время от времени касается её ногтем. Воронин несколько раз вставал, пил воду, снова садился. Он хотел лечь, но боялся закрыть глаза. Стоило ему опустить веки, как возникала фотография. Чёрное платье. Белое кружево. Тёмная камейя. Глаза. Он открывал глаза и видел комнату. Закрывал — видел её. Открывал — стол.

Закрывал — лицо. Наконец он начал говорить сам с собой, сначала мысленно, потом едва слышно: «Этого не было. Это невозможно. Тридцать лет прошло. Тридцать лет». Но число не успокаивало. Напротив, оно становилось всё страшнее. Тридцать лет означало не расстояние от прошлого, а его возраст. Тридцать лет он ел, спал, преподавал, получал жалование, разговаривал с людьми, жаловался на цены, болел, выздоравливал, старел. Тридцать лет он существовал рядом с одним человеком, которого уже не было. И если всё это время Натана была мертва, то что именно продолжало жить в нём? Он попытался ответить. Ответа не было. Только звон в висках и тяжёлое дыхание.

Под утро он всё-таки лёг. Не потому, что успокоился, а потому, что тело оказалось сильнее страха. Сон пришёл не сразу. Сначала потолок начал медленно удаляться, потом стены стали расплываться, затем исчез звук часов. Воронин ещё некоторое время чувствовал собственное тело: тяжесть головы, влажную рубаху, напряжённые пальцы. Потом исчезло и это. Он провалился не в сон, а куда-то глубже, туда, где не было ни времени, ни комнаты, ни возможности проснуться.

Первым пришёл запах.

Сырой земли.

Потом формалина.

Потом прелых еловых венков.

Воронин стоял в каком-то тесном помещении, стены которого были покрыты влажными тёмными пятнами. Он не

видел потолка. Не видел пола. Всё вокруг было чёрным и блестящим, как смола. Воздух был холоден, но холод этот не освежал: он входил внутрь тела, останавливался в костях и там оставался. Воронин хотел двинуться, но ноги не слушались. Он попытался закричать — не смог. Впереди появилась светлая полоса. Из неё медленно вышла женщина.

Сначала он увидел платье.

Чёрное.

Потом белое кружево.

Потом лицо.

Натана.

Она была молода — так молода, как может быть только мёртвый человек в памяти живого. На её лице смерть не уничтожила молодость, а сделала её страшной. Кожа казалась бледной до синевы. Щёки впали. Губы были сведены какой-то внутренней судорогой. Тёмные глаза глубоко ушли в глазницы и оттого казались огромными. Но страшнее всего было то, что они оставались живыми. Они смотрели на Воронина с тем же мучительным ожиданием, которое он видел когда-то, когда ещё мог уйти, но ещё не ушёл. На груди висела тёмная камей. Белое кружево закрывало шею.

Она шла к нему.

Он хотел отступить.

Не мог.

Она подошла совсем близко.

От неё пахло сырой землёй.

— Алексей.

Он зажмурился.

— Не надо.

— Человек может уйти и забрать с собой смысл чужой жизни...

Голос был хриплый, слабый, но каждое слово звучало так ясно, словно произносилось внутри его собственной головы.

Она наклонилась к нему.

— Почему ты не пришёл, Алексей?

Воронин открыл глаза.

Её лицо было перед ним.

Он увидел каждый порок кожи, каждую тёмную складку у губ, каждую каплю влаги на белом кружеве. Он хотел сказать, что был молод, что боялся, что не понимал, что жизнь требовала от него выбора, что он не желал ей смерти. Но язык лежал во рту тяжёлым, мёртвым куском мяса.

Натана улыбнулась.

И тогда белое кружево на её шее вдруг натянулось.

Раздался сухой треск.

Кружево лопнуло.

Под ним появилась тёмная, багровая полоса.

Воронин увидел верёвку.

Он закричал.

Пол исчез.

Натана повисла перед ним.

Раздался глухой хруст.

Её тело дёрнулось.

Потом начало медленно раскачиваться.

Вправо.

Влево.

Верёвка скрипела.

Каблуки глухо ударили в пустоту.

Вправо.

Влево.

Каждое движение было одинаковым, безжалостным и механическим, как движение маятника часов.

Воронин хотел закрыть глаза.

Не смог.

И тогда в дальнем углу комнаты появился человек.

Вчерашний проезжий.

Тот же тёмный сюртук.

Тот же саквояж.

То же усталое лицо.

Он не выглядел мёртвым, демоническим или необычным. Именно поэтому ужас его присутствия был почти невыносим. Он стоял совершенно обыкновенно, словно вошёл сюда через дверь и теперь наблюдал за происходящим без удивления.

Он подошёл.

Встал рядом.

— Вы устали, Алексей Петрович.

Воронин затряс головой.

— Нет.

— Устали.

— Нет.

— От прошлого нельзя убежать. Вы сами это уже знаете.

Натана продолжала раскачиваться.

Скрип.

Удар каблуков.

Скрип.

Незнакомец наклонился к нему.

И тихо, почти ласково, как старший человек, дающий дурной, но практический совет, сказал:

— А не лучше ли вам повеситься, голубчик? Зачем вы коптите небо? Ведь верёвка-то давно намылена. Она ждёт.

Воронин почувствовал, что наконец может закричать.

Он закричал.

Но звука не было.

Всё вокруг продолжало двигаться.

Натана.

Верёвка.

Незнакомец.

И только он один стоял неподвижно, понимая, что никогда уже не проснётся.

Он проснулся.

Крик остался внутри.

Воронин сел на кровати и несколько секунд не понимал, где находится. Он хватал воздух ртом, как утопленник. Руба-

ха была мокрой. Простыня под ним тоже. Пальцы обеих рук свело судорогой. На языке стоял вкус меди и кислой рвоты. Он попытался встать, но ноги не удержали. Он сполз на пол и некоторое время лежал, прижавшись щекой к холодным доскам. Потом поднялся на четвереньки и пополз к зеркалу.

Зеркало висело низко.

Он посмотрел.

И отшатнулся.

В отражении стоял старик.

Он знал, что это он.

Но лицо казалось чужим. За одну ночь оно словно постарело на двадцать лет. Кожа стала серой. Щёки осели. Под глазами лежали глубокие тёмные впадины. Губы были бескровны. Глаза казались огромными и пустыми.

Воронин коснулся щеки.

Отражение повторило движение.

Он вдруг подумал: «Вот оно».

Не смерть.

Не болезнь.

А человек, который тридцать лет избегал одного признания и теперь наконец его увидел.

Он вспомнил слова из сна.

Верёвка-то давно намылена.

Воронин закрыл глаза.

Мысль была страшной именно своей простотой. В ней не было никакой мистики. Жизнь его действительно состояла

из бегства. От Натаны. От собственной ответственности. От правды о себе. Потом — от самой памяти. Он называл это осторожностью, зрелостью, благоразумием. Он научился говорить о нравственности с учениками. Научился осуждать чужую подлость. Научился быть порядочным человеком. И всё это время в глубине его жизни лежало одно-единственное действие, настолько ясное, что все последующие тридцать лет не смогли его заслонить.

Он встал.

Подошёл к окну.

Крест на полу исчез.

Наступило утро.

Черноярск после дождя сиял.

Это сияние было почти оскорбительным. Листья акаций блестели. Крыши казались чистыми. Пыль осела. Воздух стал прозрачнее. На улицах появились лужи, в которых отражалось голубое небо. Люди шли по своим делам. Кто-то смеялся. Из булочной тянуло свежим хлебом. Где-то звонил колокол. Всё выглядело так, будто ночью ничего не произошло.

Воронин оделся.

Сначала он хотел идти в прогимназию, но ноги сами понесли его в другую сторону.

В кофейню.

Ему нужно было кофе.

Не потому, что он хотел пить. Ему нужна была чашка,

блюде, ложка, сахар, привычное движение руки — всё то, что связывает человека с нормальной жизнью. Если он сядет за стол, выпьет кофе, посмотрит на людей, то, возможно, вчерашний день станет похож на бред.

Он вошёл.

Здесь было светлее, чем в трактире. Несколько столиков были заняты. В воздухе стоял запах кофе и свежего хлеба. Воронин сел у стены.

— Кофе, — сказал он.

Официант поставил чашку.

Воронин взял её двумя руками.

Руки дрожали.

Он пытался остановить их, но дрожь только усиливалась.

— Алексей Петрович?

Он поднял голову.

Перед ним стояла Мария Андреевна Сергеева.

Вдова полковника. Женщина лет сорока с небольшим, с тихим, усталым лицом, которое после смерти мужа словно стало старше, чем было прежде. Она была одета просто, без траурной демонстративности, но в её лице осталось то выражение постоянной осторожности, какое появляется у человека, слишком долго живущего рядом с чужими взглядами и разговорами.

— Можно?

— Конечно.

Она села.

Несколько секунд смотрела на него.

— Вы плохо выглядите.

— Жара.

— Сегодня уже не жарко.

— Ночью простудился.

— Простудились?

— Да.

Она посмотрела на его руки.

— Вам холодно?

Воронин спрятал пальцы под стол.

— Немного.

Мария Андреевна не стала спорить.

— Вы были вчера в трактире?

Воронин поднял голову.

— Почему вы спрашиваете?

— Просто.

— Да.

— Видели кого-нибудь знакомого?

— Нет.

Она замолчала.

Потом сказала:

— Вы странно говорите сегодня.

— Как?

— Будто каждое слово вам приходится вытаскивать из себя.

Воронин сделал глоток кофе.

Он был горьким.

— Не выпался.

— Вам снилось что-нибудь?

Рука его остановилась.

Он посмотрел на неё.

Она поняла, что попала куда-то слишком близко, и слегка изменилась в лице.

— Простите. Я не хотела...

— Ничего.

Он попытался улыбнуться.

— Просто сон.

Мария Андреевна долго смотрела на него.

— Алексей Петрович, вы можете ничего мне не рассказывать. Я не спрашиваю из любопытства.

Он молчал.

— Но вы сегодня совсем не похожи на себя.

Воронин поставил чашку.

— На кого же я похож?

Она ответила не сразу.

— Не знаю.

За окном прошёл человек.

Воронин следил за ним глазами.

— Может быть, просто устал.

— Вы стали другим человеком.

Он вздрогнул.

Мария Андреевна тихо продолжила:

— Вы словно один пережили конец света.

Воронин посмотрел на неё.

Ему вдруг захотелось рассказать всё.

Одним движением вывернуть перед ней всю свою жизнь, сказать про Астрахань, письмо, фотографию, ночь, петлю, человека с саквояжем, сказать, что он больше не может жить в собственной коже. Но вместо этого он почувствовал ужас. Если он скажет — прошлое станет реальным. Пока он молчит, оно ещё находится где-то внутри него, страшное, но принадлежащее только ему. Слова сделают его общим.

Он встал.

— Мне пора.

— Алексей Петрович...

Он не ответил.

Оставил кофе.

Пошёл к двери.

И там столкнулся с девушкой.

Ольгой.

Она несла корзину. От неожиданного столкновения корзина качнулась, несколько хлебов едва не выпали. Девушка быстро удержала её.

— Простите.

Воронин посмотрел на неё.

Ей было девятнадцать.

Лицо молодое. Усталое, но ещё не испорченное жизнью. В глазах — тревога, нетерпение и что-то ещё, чего он уже не

мог назвать, потому что сам давно этого не чувствовал.

Она посмотрела на него.

Потом — мимо него, через стекло двери, на улицу.

Туда, за город.

На дорогу, уходившую к яру.

Воронин вдруг понял, что именно она ищет там.

Выход.

Свободу.

Другую жизнь.

Он почувствовал зависть.

Не к её молодости даже.

К тому, что её прошлое ещё не успело стать могилой.

У неё впереди были годы, в которых ещё не было Натаны, письма, фотографии, петли. Её могли предать, она могла сама предать, могла ошибиться, погибнуть, спастись — всё это ещё принадлежало будущему. Перед ней была дорога, а за дорогой неизвестность.

Воронин смотрел на неё и думал только об одном: как много у человека бывает жизни, пока он ещё не понимает, что однажды она закончится одним-единственным поступком, который потом будет повторяться внутри него тридцать лет.

Ольга снова посмотрела на дорогу.

И ушла.

Воронин остался в дверях.

Позади Мария Андреевна молчала.

Перед ним блестел после дождя Чернойрск.

Чистый.

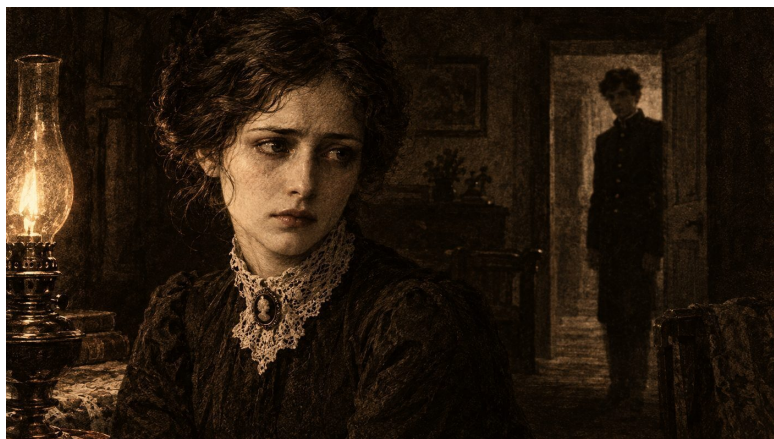
Свежий.

Почти красивый.

И от этой чистоты ему стало страшнее, чем от вчерашней грязи.

Он вышел на улицу и пошёл прочь, не разбирая дороги. За спиной осталась кофейня. Впереди лежал город, который ещё ничего не знал о его бессонной ночи.

А внутри него уже начиналось то медленное разрушение, после которого человеку иногда остаётся только одно: либо впервые сказать правду, либо окончательно перестать быть человеком.



Глава 3. Мясной затылок и древняя сталь



В полдень трактир Зарубина снова наполнился тем особенным шумом, который возникает там, где люди едят много, пьют ещё больше и не хотят думать ни о чём, кроме ближайшей рюмки, куска мяса и собственного благополучия. После ночного дождя город казался вымытым, но трактир не переменялся: вода не могла проникнуть сюда, в этот густой, жирный воздух, пропитанный вчерашним чадом, человеческим потом, кислой капустой, табачным дымом и пролитой водкой. Откуда-то из кухни тянуло жареным луком; под потолком медленно кружились мухи; за перегородкой кто-то

громко ругался из-за карт; в дальнем углу два старика с сосредоточенностью нотариусов передвигали костяшки домино, и каждый удар белой кости о деревянную поверхность звучал сухо и окончательно. Зарубин, хозяин заведения, толстый человек с рыхлой шеей и маленькими пороссячими глазами, сегодня особенно старался. У окна, за отдельным столом, сидел Иван Михайлович Лукьянов, и для Зарубина это было почти событием государственного значения. В присутствии Лукьянова он становился меньше ростом, мягче голосом и значительно подвижнее. Сам Лукьянов этого не замечал. Он вообще редко замечал людей, когда они не были ему нужны.

Он был крупен даже для крупного человека. Плечи его расходились широко, будто одежда постоянно пыталась удержать их в пределах человеческой фигуры и постоянно терпела поражение; живот нависал над поясом, подбородок переходил в короткую мясистую шею, а на затылке, красном, влажном и блестящем, волосы были подстрижены низко и ровно, почти по-детски, так что голова казалась тяжёлым округлым куском мяса. В этом затылке было что-то вызывающе беззащитное и вместе с тем страшное: он казался частью тела, которая давно перестала знать о существовании совести. Лицо Лукьянова имело тот красный, насыщенный цвет, который приобретают люди, ежедневно принимающие в себя слишком много водки и слишком мало сомнений. Нос был широк, порист, с красными крыльями; веки тяжёлые;

рот большой, влажный и почти всегда занят жеванием. На пальцах, толстых и коротких, росли рыжеватые волосы. Когда он сжимал кулак, они вздрагивали вместе с кожей, и кулак становился похож на корень какого-то старого дерева, выросшего не из земли, а из человеческой жадности.

Он ел щи со свининой. Еда была жирная, густая, почти коричневая от навару; сверху плавали блестящие круги сала. Лукьянов ел медленно, но жадно, не торопясь и не отвлекаясь, как человек, который совершает выгодную сделку и не намерен уступать ни одной копейки. После щей он положил на тарелку несколько кусков холодной говядины, посыпал их солью, съел два солёных огурца и налил себе водки. стакан он поднял не сразу. Сначала посмотрел на него, словно проверяя качество товара, потом выпил одним движением и поставил на стол с таким удовлетворением, какое другой человек мог бы испытать после получения крупного наследства. Зарубин тут же подлил.

— Хватит, Иван Михайлович? — спросил он.

Лукьянов посмотрел на него.

— А тебе что, жалко?

— Что вы, Иван Михайлович!

— Ну так лей.

Зарубин налил.

Лукьянов снова взял стакан.

Он чувствовал себя хорошо. Даже очень хорошо. Дождь прошёл. Дела шли. Новая партия спирта должна была при-

быть через три дня. В губернской управе сидел человек, который прекрасно понимал, что такое благодарность. Полицмейстер был человеком практическим. Два мелких конкурента уже закрылись, третий собирался продавать лавку и уезжать. Город был небольшой, и потому здесь всё решалось проще, чем в больших местах: достаточно было знать, кому дать денег, кому дать работу, кому пригрозить, а кому просто показать, что у тебя за спиной стоят другие люди, ещё более тяжёлые, чем ты сам. Лукьянов любил Черноярск не за улицы, не за реку и не за людей. Он любил его потому, что город подчинялся ему. В этом заключалась вся его нежность.

Он не считал себя преступником. Это слово было слишком мелким и слишком книжным. Преступник — человек, который нарушает порядок. Лукьянов же давно считал себя частью порядка. Полиция брала у него деньги — значит, деньги были частью порядка. Управа получала от него подарки — значит, подарки были частью порядка. Купец, отказавшийся играть по его правилам, исчезал из дела — значит, дело само выбирало более сильного. Лукьянов никогда не спрашивал, почему один человек должен жить, а другой уходить. Сильный жил потому, что мог. Слабый уходил потому, что не мог. Всё остальное было разговорами для гимназистов.

Он как раз протянул руку к следующему огурцу, когда почувствовал рядом человека.

— Иван Михайлович?

Лукьянов поднял глаза.

Перед столом стоял вчерашний проезжий.

Он выглядел совершенно обыкновенно. Тёмный дорожный сюртук был потёрт на локтях и покрыт дорожной пылью. На сапогах засохла глина. Седеющие виски выделялись на фоне коротко стриженных волос. В руке он держал свой старый кожаный саквояж. Мужчина был немного выше среднего роста, слегка сутул и производил впечатление человека, который много ездил, мало спал и давно перестал удивляться неудобствам дороги. Ничего угрожающего в нём не было. Никакой странности, которую можно было бы показать пальцем и сказать: вот она, причина тревоги. Только глаза. Цвет их было трудно определить. Они казались то серыми, то желтоватыми, то почти бесцветными, но в них присутствовало нечто такое, от чего Лукьянов на мгновение почувствовал совершенно нелепое желание отвернуться. В этих глазах не было обвинения. Не было злобы. Было другое — тяжёлое знание человеческой жизни, такое глубокое и печальное, что рядом с ним собственная жизнь вдруг казалась Лукьянову маленькой и прозрачной.

— Чем обязан? — спросил он.

Незнакомец слегка наклонил голову.

— Разрешите присесть?

Не дожидаясь ответа, он поставил саквояж возле стула и сел.

Лукьянов нахмурился.

— Вы кто такой?

— Савельев Самуил Андреевич. Из комиссии по коммерции.

Лукьянов внимательно посмотрел на него.

Имя почему-то не удержалось в голове.

Он слышал одно, другое, третье, но звуки словно скользнули по чему-то мягкому и провалились. В сознании возникло совсем другое сочетание.

— Сергей Анатольевич Сараев?

Мужчина некоторое время смотрел на него.

Потом устало улыбнулся.

— Если вам так легче — пусть будет Сараев.

Лукьянов прищурился.

— А вы, значит, из комиссии?

— Иногда.

— Что значит — иногда?

— То и значит.

— А ко мне по какому делу?

— По старому.

Лукьянов перестал улыбаться.

Он понял.

Ревизия.

Или хуже — человек пришёл торговаться.

Но ревизора можно было купить. Любого можно было купить. Нужно только знать цену. Лукьянов налил водку в чистый стакан и подвинул его гостю.

— Пей.

Тот посмотрел на стакан.

— Спасибо.

— Я сказал — пей.

— Не хочу.

Лукиянов почувствовал раздражение.

— Ну тогда давай без этих разговоров. Называй цифру сразу. Не крути хвостом.

— Какую цифру?

— Которую тебе нужно получить.

— Мне ничего не нужно.

Лукиянов коротко рассмеялся.

— Все так сначала говорят.

Он откинулся на спинку стула. Стул жалобно скрипнул.

— У меня, голубчик, знаешь, сколько таких было? Из губернии приезжали, из столицы приезжали. Бумаги показывали, печатями махали. Один даже грозился до самого министра дойти. Теперь сам у меня просит занять денег на дом. Так что не пугай меня комиссиями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.